

- бесчисленное множество попыток описать культуру – по оценкам ЮНЕСКО их количество приближается к восьмистам – объективно представляет неограниченные возможности для научного познания конкретной предметной формы культуры и ее вида;

- можно с достаточной определенностью утверждать о потенциально неисчерпаемом методологическом ресурсе культурологического подхода в приложении к процессам и результатам творческой деятельности субъекта как культуросообразной.

Список использованных источников

1. Орлов, М. Основы изобретательского мышления / М. Орлов. – М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2010. – 280 с.
2. Фролов, И. Т. Философия и этика науки: итоги и перспективы / И. Т. Фролов // Вопросы философии. – 1996. – № 7. – С. 30–34.
3. Капица, П. Л. Эксперимент. Теория. Практика. Статьи и выступления / П. Л. Капица. – М.: Наука, 1981. – 497 с.
4. Тищенко, Е. Г. Практика выявления одарённых учащихся в школах США / Е. Г. Тищенко // Педагогика и народное образование за рубежом. – М.: НИИ теории и истории педагогики, 1992. – Вып. 2. – С. 1–14.
5. Анисимов, О. С. Принятие государственных решений и методологизация образования / О. С. Анисимов. – М.: ФГОУ РосАКО АПК, 2003. – 420 с.
6. Тамберг, Ю. Г. Как научить ребенка думать / Ю. Г. Тамберг – СПб, 2007. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 445 с.
7. Петров М. К. Язык, знак, культура / М. К. Петров. – М.: Наука, 1991. – 328 с.
8. Щедровицкий, Г. П. К анализу процессов решения задач / Г. П. Щедровицкий // Избранные произведения. – М.: Шк. культурной политики, 1995. – С. 517–521.

(Дата подачи: 20.02. 2017 г.)

Е. Ю. Садовская, И. Г. Подпорин

Институт бизнеса и менеджмента технологий Белорусского государственного университета, Минск

K. Sadovskaya, I. Padporyn

School of Business and Management of Technology of Belarusian State University, Minsk

УДК 801.73

ПАРАДОКСЫ СВИДЕТЕЛЯ ВОЙНЫ В БЕЛОРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ (НА ПРИМЕРЕ ПОВЕСТИ В. КОЗЬКО «СУДНЫЙ ДЕНЬ»)

PARADOXES OF THE WAR WITNESS IN BELARUSIAN LITERATURE (BASED ON THE STORY «JUDGMENT DAY» BY V. KOZKO)

Статья посвящена философскому анализу описания детского переживания войны в белорусской литературе на примере повести В. Козько «Судный день». Главный герой

произведения несет опыт ужасных событий военного времени, которые превращают его в парадоксальную фигуру свидетеля: он балансирует на границе человеческого существования – между жизнью и смертью, субъективацией и десубъективацией в невозможности ни освоить собственную память, ни отказаться от нее.

Ключевые слова: белорусская литература; свидетель войны; парадокс жизни свидетеля; парадокс субъекта; парадокс памяти.

The article is devoted to the philosophical analysis of the description of a child experience during the war in Belarusian literature based on the story «Judgment Day» by V. Kozko. The protagonist undergoes a series of horrible war experiences which make him a paradoxical figure of the witness: he balances on the edge of human existence – between life and death, and subjectivation and desubjectivation in his inability to either master his own memory or to abandon it.

Key words: belarusian literature; the witness of the war; the paradox of the life of the witness; the paradox of the subject; the paradox of memory.

Нечеловеческий опыт маленького человека

Литературные произведения, содержащие авторские свидетельства о событиях военного времени, относятся к особому разряду. В таких произведениях автор, с одной стороны, выступает в роли историка, пытаясь воссоздать ситуацию и атмосферу, которые нельзя ощутить, просто знакомясь с историческими хрониками. С другой стороны, авторские описания содержат субъективные переживания, являющиеся, тем не менее, универсальными, если угодно, интерсубъективными. Персонажи таких произведений являются не просто отражением отдельной человеческой судьбы определенного времени. Они выступают свидетелями и судьями, опыт которых содержит мерило и оценку произошедшего. Анализ таких произведений с точки зрения выработки отношения к событиям страшных времен оказывается затруднен тем, что авторы в них уходят от привычных нам стереотипов и образов. Отраженные в этих произведениях события, происходящие во время социальной катастрофы, невозможно адекватно оценить с точки зрения критериев человека, живущего обычной жизнью в «нормальном» обществе. Поэтому произведения, посвященные войне, выступают для нас как содержащие образы человека и общества, нетипичные для того или иного мирного социума. Именно такие произведения содержат мощную «гомилетику», пытаясь показать читателю из иного общества, чем страшна война. Важным в этом смысле является восприятие таких произведений и их анализ с учетом проповеднической миссии автора, а именно, как предупреждения. Этот основополагающий принцип позволяет как писателям, так и читателям видеть силы, действующие на войне, выявлять корни жестокости и насилия, понимать, что представляет собой общество, в котором возможна война, и как оно изменяет людей.

Произведения о войне белорусских авторов занимают видное место в литературе такого рода. Белорусская земля подарила миру таких авторов,

пронзительно писавших о войне, как Алесь Адамович («Хатынская повесть», «Я из огненной деревни») и Василь Быков («Обелиск», «Сотников»). Среди белорусских произведений о войне особое место принадлежит написанным Виктором Козько, таким как «Високосный год» (1974), «Повесть о беспризорной любви» (1977), «Судный день» («Суд у Слабазде», 1978), где общей темой является опыт «детей войны». Известный российский критик и литературовед Л. Аннинский полагает, что «пережить такое, заживить в душе такой опыт, сделать так, чтобы этот ужас стал опытом, – вот ноша, которую взяла на себя белорусская литература. Вряд ли найдешь другую, – разве, кроме польской? – в которой слезинка ребенка жгла бы сегодня так страшно» [2].

Произведения В. Козько, посвященные детскому опыту переживания военного времени, отличаются особой ценностью. Описание страшного детского опыта ценно тем, что он предоставляет нам своего рода беспредпосылочные свидетельства войны, запечатленные глазами, не видевшими до этого другого мира и другого общества. Глаза ребенка видят событие во всех его подробностях и полноте, в своей безоговорочной чудовищности.

Тема повести белорусского писателя Виктора Козько «Судный день» – опыт мальчика, выросшего в военное время. Место действия – небольшая белорусский городок. Время действия – десять лет спустя после войны. Коля Летечка (это имя дано ему в детстве, своего он не помнит) маленьким ребенком попал в концлагерь, где содержались дети-доноры, у которых брали кровь для немецких солдат. Ни матери, ни отца он не помнит. А те нечеловеческие душевные и физические страдания, которые он испытал, вообще отнимают у него память о прошлом. Через десять лет, случайно попав на судебное заседание, слушая показания бывших полицейских-карателей, мальчик вспоминает все, что с ним произошло. Страшное прошлое оживает – и убивает Колю Летечку. Крик Кольки Летечки, прозвучавший в зале суда десять лет спустя после войны, – это эхо зова о помощи всех детей, насильно отторгнутых от матерей. «Мама, спаси меня!» – закричал он на весь зал, как кричали на всю землю в том далеком сорок третьем тысячи и тысячи его сверстников. Этот калечащий опыт ребенок не в состоянии освоить и даже просто вместить. В произведении «Високосный год» В. Козько пишет об этом так: «Не все могла принять и вместить в себя детская память. Почти ничего не могла она объяснить ему. Она принимала в себя и откладывала, как в архив, на долгое хранение предметы, запахи, цветы. Из них складывался свой, никому не доступный мир, в котором реальностью была война, а остальное придумывалось» [3].

Фатальное несоответствие чудовищного опыта детскому возрасту и всему человеческому косвенно проступает через описание В. Козько обстановки на суде. Анализируя поведение людей, которые пришли на суд по-

лицейских, белорусский автор пишет: «Некоторые ведь ломились сюда только из любопытства, посмотреть захватывающее дух зрелище, прикоснуться к обжигающей тайне человеческого падения, но большинство спешили в этот зал, чтобы вынести свой человеческий приговор, чтобы еще раз сказать, что они ничего не простили и никогда не простят, что они памятьливые, пусть знают об этом все, у кого есть основания бояться их памяти, кто рассчитывает на время, на забвение. Каждому человеку, каждому его поступку есть, будет судный день и судный час. Да, они шли с ненавистью, быть может, ожидали увидеть что-то невероятное, чудо-юдо нечеловеческое, чего нельзя никогда охватить ни разумом, ни сердцем. А перед ними было что-то донельзя обыденное, жалкое, серое, заганное... И все же человеческое. Но такое человеческое, какого им никогда не постигнуть. И зал был сейчас в раздумье. И люди раздумывали, наверное, не только о сегодняшнем дне, но и о дне завтрашнем, грядущем. Откуда же это берется в человеке обычное, о двух руках, о двух ногах, устроенном так же, как они?» [4].

Именно подобные описания дают нам возможность осознания характера происходящего на войне, а именно того, что происходит невозможное. Люди создают такие нечеловеческие условия и совершают такие преступления, которые дегуманизируют и дискредитируют все пространство человеческого существования [6]. Опыт такой дегуманизации не способен вместить ни одно человеческое существо, не говоря уже о ребенке. Тем не менее, Виктору Козько удалось указать на этот опыт через своего юного свидетеля.

Невозможный свидетель

Прежде, чем перейти к непосредственному анализу самой фигуры свидетеля, нужны разъяснения об избранном нами интерпретативном подходе и допущениях, из которых мы при этом исходим. Существует огромный массив литературы, в котором мы находим свидетельства страшных событий времен Второй мировой войны. Авторы свидетельств оставили нам ценные описания, содержащие не только и не столько некую фактографию, сколько различные реконструкции предельного опыта, где человек оказывается на границе человечности. Любая война является дегуманизирующей стихией, обнажающей действительность до своих последних оснований. Опыт переживших войну высвечивает радикальный сдвиг человеческого существования на собственные границы. Существует стереотип, согласно которому субъект этого предельного опыта понимается в активном залоге – как сильный человек, преодолевающий лишения собственным выбором и неимоверными волевыми усилиями. Такой субъект, переродившись в горниле бедствий, выходит победителем обстоятельств, пусть даже ценой собственной жизни, оставляя за собой право на самоопределение. В философской литературе этот культ сильного человека присутствует в различных экзистенциалистских концепциях, разворачивающих индивидуалистиче-

ские варианты онтологии (достаточно вспомнить аналитику человеческого существования у М. Хайдеггера, А. Камю или Ж.-П. Сартра). Данный стереотип содержит потенциал интерпретации субъекта в направлении его героизации, которая, на наш взгляд, не может быть продуктивно использована для адекватного понимания опыта субъекта, пережившего ужасные события. Именно фигура *страдательного субъекта* (субъекта в страдательном залоге, а не активном), выступающего в своей пассивности, бессилии и крайней степени обреченности, но, вместе с тем, максимального открытого для восприятия предельного опыта войны, дает нам возможность понять специфику этого пограничного опыта до его дегуманизирующего предела. Скорее всего, только такое осмысление и может помочь выработать точку зрения, предохраняющую от повторения бесчеловечных событий.

В перспективе осмысления субъекта в страдательном залоге становится возможным осмысление фигуры *свидетеля* войны как человека непосредственно прошедшего через события военного времени и имеющего предельный, пограничный опыт в аутентичном смысле. Свидетель, прошедший через страдания – это не тот, кто выступает в роли стороннего наблюдателя и третейского судьи (лат. *terstis*). Это тот свидетель, которого можно сравнить с христианским мучеником (греч. *μάρτυς* – свидетель, мученик). Свидетель – «тот, кто представляет собственную жизнь в качестве доказательства собственного утверждения» [7]. В этом смысле свидетель – это не просто ведающий и видевший нечто, но тот, кто не может отделить свой опыт от событий военного времени. Именно в этом смысле являются свидетелями безвинно уничтоженные люди, узники концентрационных лагерей, «дети войны». С определенной точки зрения, каждый, прошедший через невероятные страдания военного времени может выступать в роли такого свидетеля.

Свидетель, которому пришлось перенести нечеловеческие страдания войны, является парадоксальной фигурой. С одной стороны, только человек, переживший эти страдания, испытавший их на собственном опыте до конца, способен быть подлинным свидетелем. Однако такие люди погибли или оказались уничтожены; в этом смысле подлинные свидетели не способны свидетельствовать в силу собственного небытия. Прямо Леви пишет об погибших узниках Освенцима, так называемых «мусульманах»: «Не мы, оставшиеся в живых, настоящие свидетели... Канувшие – подлинные свидетели...». С другой стороны, те, кто, пройдя через страшный опыт, выжили, могли бы свидетельствовать, если бы были способны выразить свидетельство. Известно, что многие выжившие (в силу различных причин) предпочитают молчать о том, что пережили. Полученный ими опыт оказывается настолько выходящим за грани допустимого для человека, что они не в состоянии о нем вспоминать; в другом случае они не могут найти соответствующего языка для выражения собственного опыта. Виктор Козьков в «Судном дне» описывая судьбу «детей войны», говорит об этом прямо:

«Здесь, на земле, при жизни, только вступив в нее, только открывая глаза, они прошли через то, чему нет названия [курсив наш. – Е. С., И. П.]».

Таким образом, в свидетеле присутствует сама невозможность свидетельствовать, поскольку его ужасающий опыт выводит не только за границы языка, но и за границы самой человечности. Здесь нужно сразу заметить, что сама фигура главного персонажа «Судного дня» балансирует на человеческой границе (если конечно, мы судим о человечности из обычных для нас, «нормальных» условий существования): Колька Летечка – человек без имени, без родителей, без субъективной биографии, без соответствующего для подростка здоровья, условий и т. п. И в этом смысле сам статус его существования приближается к пограничному статусу того, кто может стать свидетелем. Описание такой пограничной фигуры возможно через реконструкцию ряда парадоксов.

Парадокс жизни свидетеля

Как и в фундаментальном парадоксе свидетеля, на который мы указали выше и где свидетельство оказывается не совместимо с жизнью, в образе Кольки Летечки совмещается несовместимое: он ни жив, ни мертв. Описывая рождение, существование и уход своего героя, автор произведения использует бинарную оппозицию жизни и смерти, полюса которой отсылают друг к другу почти до полной неразличимости. Колька живет «под смертью»: «Сколько себя помнит Летечка-лихолетечка, он никогда не жил, а все время умирал. Умирал летом, когда его сверстники дотемна носились по улицам, разбивали в кровь головы и ноги. Умирал, когда они спали, осенью и зимой. И в жизни этой он объявился из смерти, так ему говорили взрослые» [4].

Но в моменты неотвратимой смерти, Колька оказывается живым и стремящимся к жизни: «Бегал, прятался по лесам, попадал в лагеря, его трижды расстреливали, трижды сжигали живым. Но не могли ни расстрелять, ни убить, он выползал из-под трупов, выходил из огня и снова жил, чтобы дождаться завтра. И завтра снова умирать и снова оживать» [4].

Эта неразличимость, переплетение жизни и смерти, выступает для Кольки универсальной характеристикой мира людей, в том виде, каким он дан ему в его опыте: сторож детдома Захарья предсказывает время Колькиной смерти; «гады полицейские», которых привозят на суд, оказываются «живыми мертвецами», а в зале суда Колька видит смерть в образе старухи. Сам же момент Колькиной смерти описывается автором в лексике, напоминающей, скорее, переход в некий иной мир оживших грез, чем прекращение существования.

Невольное свидетельство о действиях полицейских в суде (едва осознаваемый крик «Было!») и последовавшая вскоре смерть Кольки – события, которые требуют многосторонней интерпретации. В данном случае, рассматривая их в рамках парадокса жизни свидетеля, можно воспользоваться

различием символической и естественной (биологической) смерти. Став свидетелем (невольно реализовав себя как свидетель) Колька переживает символическую смерть, т. е. в каком-то смысле он перестает быть прежним Колькой, в частности, радикально меняется его отношение к своей скорой фактической смерти, предсказанной Захарьей. До свидетельства Колька «борется» со смертью, после свидетельства – он готов принять ее спокойно и трезво, благодушно раздав свое имущество друзьям по изолятору. Парадокс здесь проявляется тогда, когда мы вспоминаем, что речь идет о перемене, которая произошла в опыте подростка (фактически, ребенка), что эмпирически вряд ли возможно, т. е. неправдоподобно. В другом смысле, последовательность этих двух смертей укладывается в парадоксальную логику фигуры свидетеля: превращение в свидетеля, т. е. обретение воспоминаний и возможности свидетельствовать не совместимо с самим свидетельством, в данном случае через прекращение существования. Относительно последствий Колькиного свидетельства для правосудия автор оставляет нас в неведении, что, впрочем, не влияет на парадоксальность ситуации: в своей собственной субъективности Колька становится свидетелем, и он не может с этим свидетельством жить дальше.

Парадокс субъекта: стыд невинного

Здесь мы подходим к одному из основных моментов, сопутствующих парадоксу свидетеля. Это парадоксальное чувство стыда, которое возникает у безвиного наблюдателя ужасающего преступления. Это чувство стыда не является простым нравственным переживанием неловкости или уличенного со стороны других несоответствия моральной норме. Это – экзистенциальный стыд, проистекающий из ощущения, когда субъект уличает сам себя в своей собственной оголенности до оснований субъективности. В таком стыде имеет место раздвоение субъективности: одна часть субъекта выступает как «объект» (собственно обнаженная, уличаемая часть), другая часть – как свидетель, наблюдающий это обнажение. В стыде проявляется невозможность избавиться от самого себя, страх быть уличенным самим собой, двойственность субъективности, выступающей одновременно как свое и нечто чуждое (инородное), как суверенное и подчиненное. В стыде, поскольку имеет место расщепление, раздвоение субъекта, происходит десубъективация. Но именно эта десубъективация является признаком субъекта, т. е. субъективации [1, с. 115]. Это два процесса, взаимно обуславливающие друг друга. Интерпретируя Э. Левинаса, Дж. Агамбен пишет: «Стыдиться означает находиться во власти того, чего нельзя принять. Но это неприемлемое не является чем-то внешним... Оно – самое интимное, что в нас есть. ...Как если бы наше сознание распалось и разлетелось в разные стороны, но в то же время, подчинившись приказу, который невозможно нарушить, неотрывно присутствовало бы при своем распаде...» [1, с. 112–113].

Автор «Судного дня» описывает явление стыда, возникающего у невиновного, бывшего свидетелем ужасного события. Молодая женщина на суде коллаборационистов, пострадавшая от них, переживает это чувство: «Она стыдится этой своей седины, как будто в том, что произошло с ней, есть и ее вина. Словно она виновата в том, что на земле есть такие люди, как Калягин, что она вынуждена жить рядом с ними, словно она сама делала и делает что-то не так. Без вины винит она себя» [4].

Подобный стыд, по мнению Агамбена, возникающий у невиновного страдающего, когда совершается преступление, не вмещающееся в границы вины и прощения, логику преступления и наказания, является формой свидетельства о том, о чем невозможно свидетельствовать, – «немая апострофа, обращенная к нам» и свидетельствующая за страдающего [1, с. 111].

Этот стыд известен не только автору «Судного дня». О подобном чувстве знали Франц Кафка (его испытывает казнимый К. Йозеф в «Процессе»), Примо Леви и Роберт Антельм [1, с. 110–115]: оно возникало у заключенных и бывших заключенных концлагерей. Подобное чувство охватывает после свидетельства и Кольку: «Виноват в том, что столько знает не очень хорошего о людях, виноват и в том... в том... Он не мог высказать, в чем. Ему неожиданно припомнилась седая женщина, с которой он сидел в зале суда, которая испытала столько горя и стыдилась смотреть людям в глаза, словно во всем, что произошло с ней, была виновата она сама. И Летечка, как и та женщина, винил себя за все то окружающее зло, что творилось на свете, за то, что ему выпало изведать его, за людей, к которым принадлежал и он сам, что дорогим ему будет больно его исчезновение» [4].

Сложный комплекс Колькиных чувств высвечивает стыд, содержащий разрыв, не дающий ему больше жить: он, действительно находится во власти того, чего не в состоянии принять. Можно сказать, что стыд манифестирует переживание ситуации, в которой Колька настолько срастается со своим страшным опытом, ставшим его собственной частью, что не может ни освободиться от него, ни жить с ним. К этой ситуации его приводит пробуждение собственной памяти.

Парадокс памяти: ни вспомнить, ни забыть

В начале произведения Колька ничего не помнит о себе, задаваясь вопросами о том, откуда и кто он, кто его родные и что с ним происходило. Казалось бы, для такого человека возвращение памяти или выведение в сознание отвергнутых воспоминаний могло бы быть благом. Однако здесь уместно различить два рода отвергнутых воспоминаний. В практике психоаналитической терапии принято считать, что артикулированное выведение вытесненных воспоминаний порождает эффект катарсиса: когда пациент начинает осознавать скрытые травматические причины собственного расстройства, он становится на путь освобождения от расстройства через осознание и проговаривание этих причин. Эти вытесненные травматические

переживания или события, кажется, имеют мало общего с тем тяжелым опытом, которым обладают свидетели военного времени. Подтверждением этому являются факты сознательного или неявного нежелания людей, пострадавших от ужасов войны, не только говорить о ней, но и вспоминать что-либо из того времени. Сам акт припоминания является настолько травматичным, что способен убить такого человека [5]. Виктор Козько прямо указывает на наличие такого опыта у «детей войны»: «В других детдомах по всей Белоруссии были свои Летечки, свои Стаси, свои Козелы, повязанные единой судьбой, единым страшным детством, которого многие из них, подобно Летечке, и не помнили, а те, которые помнили, не хотели помнить, хотели избавиться от этой памяти, потому что страшнее этой их детской памяти ничего на земле не было и не могло уже быть» [4].

Любой опыт, вытесненный в бессознательное, сам по себе приобретает черты парадоксального опыта: его невозможно вспомнить, поскольку его травматичность крайне нежелательна для сознания, препятствующего его актуализации; вместе с тем, его нельзя забыть, поскольку именно этот травматичный опыт всегда латентно присутствует в субъекте, формирует субъекта, делает его таковым. Если учесть, что припоминание событий военного времени способно привести человека к гибели, возникает вопрос: чем же тогда был сам этот опыт, в момент непосредственного переживания? Не случайно при описании этого опыта, возникает проблема поиска соответствующего языка. При уточнении парадокса памяти применительно к такому опыту, необходимо отметить, что данный парадокс связан не столько с механизмами поддержания психического комфорта или нормы (когда процессы припоминания и забывания регулируются защитными механизмами психики), сколько с самим существованием и человечностью субъекта. Это память, от которой невозможно терапевтически дистанцироваться, от нее невозможно избавиться, ее нельзя просто пережить. В то же время, это память, которой нельзя овладеть, ею невозможно управлять. Это память, которую нельзя освоить, и которую, вместе с тем, невозможно игнорировать.

Для Кольки Летечки в «Судном дне», как мы видели, возвращение памяти на суде превращается в вопрос жизни и смерти: «И вот эту память через много-много лет, через небытие в нем пробудили вновь. Не прорвавшийся в нем тогда криком страх, крик и страх, который он, Летечка, сам того не зная, носил в себе все эти годы, выспел, выплеснулся из него. И, хотя ему теперь уже никто и ничто не угрожало, он понял, что не переживет этого страха и крика, не сможет ни остановить, ни забыть ничего, не сможет больше жить на земле с этой своей памятью... Нельзя ему больше жить, нельзя, потому что в каждом человеке ему будет мерещиться та черная образина» [4].

Таким образом, в произведении Виктора Козько «Судный день» мы обнаруживаем, по крайней мере, три парадокса свидетеля: парадокс жизни свидетеля, его чувства вины, расщепляющего субъективность, и парадокс памяти. Эти парадоксы могут рассматриваться как моменты раскрытия

фундаментального парадокса свидетеля, проблематизирующего наше понимание опыта военного времени и наше нынешнее отношение (часто, не достаточно предусмотрительное) к социально-катастрофическим событиям, подобным войне.

Список использованных источников

1. Агамбен, Дж. Homo sacer. Что остается после Освенцима: архив и свидетель / Дж. Агамбен; пер с ит.; под науч. ред. Д. Новикова. – М.: Изд-во «Европа», 2012. – 192 с.
2. Аннинский, Л. Слезинка палача [Электронный ресурс] / Л. Аннинский // Литмир. Электронная библиотека. – Режим доступа: <https://www.litmir.me/br/?b=120921&p=130>. – Дата доступа: 15.11.2016.
3. Козько, В. Високосный год [Электронный ресурс] / В. Козько // Литмир. Электронная библиотека. – Режим доступа: <https://www.litmir.me/br/?b=120921&p=1>. – Дата доступа: 13.11.2016.
4. Козько, В. Судный день [Электронный ресурс] / В. Козько // Литмир. Электронная библиотека. – Режим доступа: https://www.litmir.me/br/?b=120921&p=93#section_34. – Дата доступа: 10.11.2016.
5. Леви, П. Канувшие и спасенные / П. Леви; пер. с ит. [Электронный ресурс] // Электронная библиотека Royallib.com. – Режим доступа: http://royallib.com/book/levi_primo/kanuvshie_i_spasennie.html. – Дата доступа: 23.11.2016.
6. Леви, П. Человек ли это? / П. Леви; пер. с ит. Е. Дмитриевой. – М.: Текст, 2001. – 205 с.
7. Майнарди, А. Христианское свидетельство и единство церквей / А. Майнарди // Дух и литера [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://ru.duh-i-litera.com/hristianskojesvidetelstvo-i-jedinstvo/>. – Дата доступа: 12.11.2016.

(Дата подачи: 20.07.2017 г.)

И. Н. Сидоренко

Белорусский государственный университет, Минск

I. Sidorenko

Belarusian State University, Minsk

УДК 1(091)+101.1:316

ФРАНКФУРТСКАЯ ШКОЛА О СОЦИАЛЬНОМ НАСИЛИИ КАК ДЕСТРУКЦИИ

FRANKFURT SCHOOL OF SOCIAL VIOLENCE AS A DESTRUCTION

Статья посвящена анализу концепции социального насилия представителей Франкфуртской школы Т. Адорно и М. Хоркхаймером, в которой насилие рассматривается как деструкция и обнаруживается взаимосвязь между деструктивным состоянием сознания и репрессивным воздействием социальных условий. Сущность социального насилия раскрывается как деструктивная организация социального пространства, следствием которой становится утра смысла социального действия, отчуждение человека от социально-политических практик. В качестве решения проблемы социального насилия предлагается расширение пространства свободного творчества и развитие критичности мышления.